

18+ ВИКТОР ГОР
ГЕНИЙ

Книга II



Виктор Гор Гений. Книга II

<https://litres.ru/74591947>

ISBN 9785007147392

Аннотация

Кембридж остался позади, забрав с собой остывшую любовь и иллюзии юности. Впереди — Гейдельберг, строгая академическая гонка и новое одиночество среди вековых сосен. Но когда безупречные формулы сталкиваются с хаосом жизни, главный герой решает изменить свою жизнь. Встреча с любовью, рождение дочери и тихий дом в Эппельхайме возвращают ученому понимание того, что по-настоящему важно. Это история о цене успеха, потере и обретении дома, и о музыке, которая звучит в паузах между нотами.

Содержание

Часть первая. Беррелс-филд	5
Глава первая: Координаты дома	5
Глава вторая: Теорема молчания	15
Глава третья: Уравнение с тремя неизвестными	25
Глава четвертая: Совместная работа	38
Глава пятая: Каникулы	49
Глава шестая: Красивая модель	66
Глава седьмая: Смена знака	74
Конец ознакомительного фрагмента.	82

Гений. Книга II

Виктор Гор

© Виктор Гор, 2026

ISBN 978-5-0071-4739-2 (т. 2)

ISBN 978-5-0071-4738-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть первая. Беррелс-филд

Глава первая: Координаты дома

Контракт продлили на пять лет. Пять лет чистой, спокойной работы.

Уилсон передал мне документы в своём кабинете. Окно в сад было открыто; в нагретом солнцем воздухе листья огромного вяза шелестели сухо и нежно, как страницы старой книги, перелистываемые ветром.

— Поздравляю, — сказал Уилсон. — Теперь у вас есть самое дорогое — время.

Я кивнул. Мы пожали руки. Его ладонь была сухой и твёрдой.

Три месяца мы брали штурмом уравнения. Мы работали над обобщением высшего порядка. Уилсон приходил по вторникам и четвергам. Мы сидели в пустой аудитории; на доске оставались белые следы мела, похожие на созвездия в чужом небе. Мы искали дыры в доказательстве, как инженеры, проверяющие прочность моста. Уилсон находил трещины, я заделывал их выкладками, он находил новые. Это была хорошая, честная работа.

В конце августа мы отправили статью в Automatica. Рецензенты ответили через месяц. Они приняли все без еди-

ной правки.

— Это редкость, — сказал Уилсон.

Он достал из шкафа графин и налил два тяжёлых бокала хереса. Вино было тёмным, цвета старого янтаря. Оно пахло дубовой бочкой, изюмом и согретой солнцем землёй. Мы выпили молча. Херес был крепким и тёплым. Такое вино хорошо пить после того, как задача решена.

— Эта статья станет ядром вашей докторской, — сказал Уилсон, ставя бокал.

В сентябре мы с Эммой получили семейную квартиру. Мы ждали её долго. Нам позвонили из жилищного отдела в пятницу и сказали, что мы можем забирать ключи.

Дом стоял в Беррелс-филд, на Грейндж-роуд. Обычный кирпич, крепкие стены, функциональные окна. Подъезд пах чистотой, известкой и свежей краской. На светло-серой двери висели латунные цифры — «3F».

Внутри было тесно. Но это была хорошая теснота, которая не давит, а обнимает за плечи. Гостиная была квадратной и строгой. Пол из светлого ламината тихо скрипнул под ногой у самого окна. В углу стоял электрический обогреватель, похожий на спящего зверя. Из окна были видны молодые клёны во дворе.

Вечернее солнце уже садилось, и его прощальные, косые лучи ложились на бледно-кремовые стены, окрашивая их в нежный, почти сиреневый цвет. В воздухе кружились мелкие

пылинка, золотясь в полосе света. Небо над клёнами было прозрачным, зеленовато-синим, каким оно бывает только в ясные сентябрьские вечера, когда воздух становится сухим и чутким к каждому звуку, и кажется, что все неудачи наконец-то остались позади.

Кухня была совсем крошечной. Белые шкафы, столешница из сосны, узкий холодильник. Кран над раковиной из нержавеющей стали капал. Ровно. Размеренно. Словно отсчитывая наше новое время.

В спальне стояла только двуспальная кровать с простым деревянным каркасом и тонким матрасом. Окно здесь было широким, с глубоким деревянным подоконником. На нём можно было сидеть вдвоём, поджав колени и укрывшись одним одеялом.

— Здесь можно жить, — сказала Эмма.

Она стояла у окна в гостиной. На ней были старые джинсы и мужская белая рубашка с засученными рукавами. Солнце золотило её короткие светлые волосы. На переносице темнели мелкие веснушки. Она смотрела во двор, и в её глазах отражалось вечернее небо.

— Да, — сказал я. — Здесь тепло.

Мы обживались. Это были хорошие дни. Эмма вешала серые льняные занавески, стоя на табурете, а я придерживал её за колени. Я притащил из библиотеки списанный дубовый

стеллаж. Мы отмыли его и поставили у стены. Эмма разыскала где-то настольную лампу с выцветшим жёлтым абажуром из плотного шёлка. Когда её включали, комната сразу становилась уютной, углы тонули в мягкой, тёплой тени, и весь мир за окном переставал иметь значение.

Она принесла шерстяной плед в крупную зелёную клетку. Он пах лавандой и немного — её прежней комнатой. Появились глиняные кружки, тяжёлая доска для хлеба и простая ваза, в которую Эмма поставила пучок сухой лаванды и колосья ржи.

Я собрал полку в спальне. Мои книги по математической физике и теории управления стояли рядом с её тяжёлыми томами по молекулярной биологии. На подоконник Эмма положила серый кремнистый камень, который мы подняли на холме в Котсуолдсе. Он был гладким и холодным, как застывшее время. Мы обещали вернуться туда, когда станет совсем тяжело. Камень лежал и напоминал о нашем договоре.

Квартира постепенно обживалась, впитывая наши запахи.

Новоселье праздновали в субботу. Пришли наши: Марко, Том, Чжан и Анн. Эмма приготовила пасту с густым томатным соусом и базиликом. Я принёс три бутылки сухого вина, а Марко — пузатую бутылку без этикетки.

— Граппа, — коротко бросил он. — Настоящая. Отцовская. Прочищает мозги лучше любых философских трактатов.

тов.

Мы сидели в гостиной вокруг низкого столика. Было тесно. Мы задевали друг друга локтями. Но в этом было ощущение тепла и надёжности. Том, отхлёбывая вино, увлечённо рассказывал о рукописях времён Тюдоров. Чжан молча улыбался, разглядывая свой бокал. Анн хвалила квартиру. Марко разлил граппу по маленьким рюмкам.

— За тихую гавань, — сказал Марко, глядя на нас своими умными глазами. — И за то, чтобы шторм подольше кружил где-то далеко в открытом море.

Мы выпили. Граппа была крепкой, чистой. Она обожгла горло и разлилась по телу приятным, сухим теплом.

— Ты теперь совсем остепенился, — сказал Марко, закуривая сигарету. — Семейный очаг. Статья в хорошем журнале. Пять лет гарантированной спокойной жизни. Скоро купишь кресло-качалку.

— До кресла ещё далеко, — рассмеялась Эмма.

Марко снова налил себе. Его лицо в полумраке казалось старше, но глаза блестели тепло и мягко.

Анн спросила про отопление. Эмма объяснила, что радиаторы новые и зимой будет тепло. Том подошёл к стеллажу и провёл пальцем по корешкам книг.

— Колмогоров, Ландау, Понтрягин, — пробормотал он. — Фундамент. На этом можно построить дом, который не рухнет от ветра.

— Это хорошая математика, — сказал я. — Формулы не

умеют льстить. И они не врут.

Мы ели пасту и пили вино. Марко приоткрыл окно и курил, стряхивая пепел на улицу. Из темноты тянуло сыростью и ночной прохладой. Клёны во дворе глухо и мерно шумели под порывами ветра. Этот шум был успокаивающим. Он напоминал о том, что мы внутри. В тепле.

Гости ушли далеко за полночь, оставив после себя запах крепкого табака, пустые бутылки и то особенное, мягкое тепло, которое остаётся после друзей. Мы прибрали со стола. Эмма мыла посуду, а я вытирал тарелки жёстким льняным полотенцем. Потом мы сели на диван в гостиной. Лампа под абажуром горела мягко.

— Устала? — спросил я.

— Нет, — она положила голову мне на плечо. Её волосы пахли ветром и немного — табачным дымом от сигарет Марко. — Мне хорошо. Это наш дом, Костя.

— Да, — сказал я. — Наш дом.

Мы сидели в темноте, слушая, как гудит за стеной обогреватель и как ветер возится в кронах клёнов за окном. Это было хорошее чувство. Чувство прочного берега под ногами.

На кухне капал кран. Ровно. Размеренно. Наше новое время пошло.

Утром я проснулся рано. Небо за окном было серого цвета. Шёл тихий осенний дождь; он шуршал по стеклу мелкими, частыми каплями. Эмма спала на боку, подтянув колени

к груди. Я накинул халат и тихо вышел.

На кухне я поставил чайник на плиту. Сел у окна. Вода в чайнике закипала с глухим, нарастающим шумом. Капли дождя стекали по стеклу, оставляя длинные прозрачные дорожки. Двор был пустым и чистым. Клёны стояли мокрые, потемневшие от воды. Их листья казались теперь тяжёлыми и блестящими.

Я заварил крепкий чай в глиняном чайнике, взял кружку и сел на подоконник в гостиной. От стекла тянуло холодом, но чай был горячим и вязущим.

Я сидел и думал о том, как странно устроена жизнь. Вот комната. Вот дождь. Вот женщина, которая спит за стеной. У меня есть пять лет, чтобы спокойно думать, писать и не ждать удара в спину каждое утро. Это было больше, чем я заслуживал.

Эмма вышла из спальни в моей старой фланелевой рубашке. Рукава свисали, скрывая ее пальцы. Волосы были растрёпаны, веки припухли ото сна. Она улыбнулась мне и зевнула.

— Нальёшь мне глоток? — спросила она полушёпотом.

— Налью.

Она взяла свою кружку и втиснулась рядом со мной на широкий подоконник, прижавшись тёплым боком к моему плечу.

— Дождь, — сказала она.

— Да. Это хороший дождь. Он умывает город.

Мы долго сидели молча, глядя, как серые капли расчер-

чивают стекло.

— Что в планах? — спросила она, сделав глоток.

— Поработаю дома.

— Хорошо. Я пойду в лабораторию. Мои бактерии не знают, что сегодня воскресенье. Потом куплю чего-нибудь к ужину.

Она допила чай, быстро поцеловала меня в щеку и ушла одеваться.

Я остался на подоконнике. Дождь всё лил. Ровный, бесконечный английский дождь. Из тумана, окутавшего город, донёсся глухой удар колокола. Восемь часов.

Я вымыл кружки, открыл ноутбук и раскрыл чистую тетрадь. Работа шла спокойно. Это была хорошая работа. Она требовала внимания и покоя.

В полдень дождь прекратился. Воздух мгновенно очистился, став прозрачным и холодным. Я накинул пальто и вышел на Сидни-стрит. Пахло мокрым асфальтом, прелой листвой и речным туманом. Сквозь серые облака проглянула чистая, пронзительная синева. Я купил свежий багет, кусок острого сыра и несколько крепких, пахнущих погребом яблок.

Дома было тихо. Я съел хлеб с сыром, запивая холодной водой, и снова сел за стол.

Эмма вернулась к шести. Её куртка была влажной, щёки горели от холодного воздуха. Я притянул её к себе прямо в дверях, не давая снять шарф.

— Как твои культуры? — спросил я.

— Растут, — она улыбнулась. — Но медленно. Им нужно время.

— Всем нужно время, — согласился я.

Мы приготовили ужин. Я резал лук и томаты, она обжаривала курицу. Мы ужинали за маленьким столом под капанье крана. Нам некуда было спешить.

Вечером мы смотрели старый французский фильм на ноутбуке, забравшись под шерстяной плед. Французы на экране много курили и говорили о вещах, которые казались неважными. Но смотреть на них было приятно.

Потом мы выключили свет и легли спать.

Так потекли наши дни в Беррелс-филд.

Это была простая, размеренная жизнь. Жизнь, состоящая из понятных и прочных вещей.

Я привык к тому, как скрипит ламинат у окна. К тому, как методично капает кран на кухне. К шуму осеннего ветра в клёнах. К запаху её шампуня в нашей тесной ванной. К её вещам, лежавшим именно там, где им следовало лежать.

Мы работали. Готовили простую еду. Пили терпкое вино по вечерам. Гуляли по субботам до паба в Грантчестере. Дорога под ногами была усыпана сухими золотыми листьями, а над рекой стоял густой, белый, как молоко, туман.

Уилсон заходил раз в неделю. Мы пили чай, говорили о математике и планировали следующую статью. Он смотрел

на нас и улыбался своей тихой, мудрой улыбкой.

— Вы поймали свой ритм, — сказал он мне как-то раз.

Да. Я поймал ритм.

Утром — чистый лист и работа. Днём — хлеб, сыр и прогулка под холодным небом. Вечером — лампа под жёлтым абажуром, запах еды и дыхание Эммы. Ночью — глубокий сон, в котором нет места страхам и сновидениям.

Всё встало на свои места.

Я знал, где лежат мои черновики. Я знал, когда придёт Эмма. Я знал, как заваривать чай, чтобы он не горчил, а грел.

Это были координаты дома. Простые, надёжные координаты в мире, который раньше казался мне слишком огромным и холодным.

Глава вторая: Теорема молчания

Я ждал ответа от Женьки. Моя статья в Automatica полностью закрывала его метод. Она опровергала саму основу его численной модели. Это было чистое, сухое доказательство, лишённое изящества, но абсолютно точное. Все у нас понимали, что это значит. Женька тоже понимал.

Но он молчал.

Я проверял почту каждое утро. Я делал это до того, как заваривал первый чай. Нажимал кнопку обновления и смотрел на пустой белый экран. Ничего.

Уилсон сказал, что в нашей работе молчание — это тоже своего рода ответ. Самый честный из всех.

— Хороший математик знает, когда его теория разрушена, — сказал он. Мы сидели в его кабинете, и он чистил трубку маленьким металлическим ножом. — Соколов слишком умён, чтобы спорить с очевидным. Он просто ищет другую дорогу.

Я кивнул. Но внутри всё равно оставалось душное, тягучее ожидание. Похожее на предгрозовую застой.

Осень уходила неохотно, как затяжная болезнь, уступая место промозглому английскому ноябрю. Сад за окном общего кабинета затих и осунулся. Берёзы стояли бледные, тонкие, словно нарисованные тушью на мокрой серой бу-

маге. Ветер срывал последние почерневшие листья с вяза и гнал их по раскисшим дорожкам. Пахло сырым перегноем, остывшей землёй и тонким дымом далёких торфяников. В такие дни кажется, что земля устала от людей и просто хочет уснуть глубоким и равнодушным сном.

В середине ноября пришло письмо от Лёвы.

Я открыл его поздно вечером. Эмма ещё не вернулась. В комнате было темно. Только лампа отбрасывала круг жёлтого света на раскрытую тетрадь. За окном ровно шуршал дождь.

Лёва писал из Москвы. Катя неожиданно для всех вышла замуж за Левина. Того самого — длинного, сутулого, в роговых очках, который всегда казался слишком нелепым для реальной жизни. Они вместе учились на Мехмате. После университета мы почти не общались. Теперь Лёва писал, что они расписались в конце лета и почти сразу переехали в Нью-Йорк. Семья Кати способствовала их отъезду.

Лёва писал, что они уехали, практически, в пустоту. Знакомый её отца пообещал рекомендацию в колумбийский колледж. Но это были лишь слова. Ни контрактов, ни гарантий, ни денег.

Я читал и словно слышал тихий голос Лёвы. Он всегда умел находить трещины в самых прочных стенах.

«Мы годами пытаемся разложить свою жизнь по полочкам, точно боимся оступиться на ровном паркете. Но человек устроен удивительно глупо. Когда вокруг него становит-

ся слишком тепло, тихо и безопасно, он начинает задыхаться. Катя уехала от гарантированного будущего в абсолютное ничто, чтобы вернуть себе право на случайность. Математика не терпит деления на ноль. А человек только этим и занимается. Он ломает собственные стены, когда ему становится тошно от уюта».

Я перечитал это место дважды.

«Они сняли квартиру в Бруклине. Левин ищет что-то в университетах, но пока ничего. Отец Кати пробует давать частные уроки русским эмигрантам. Их свобода сейчас пахнет дешёвым стиральным порошком и сыростью съёмной квартиры. Мы бежим из предсказуемой клетки в непредсказуемый хаос, забывая, что хаос — та же клетка, только без стен. Рано или поздно они построят там свой новый порядок, обставят его мебелью и снова начнут скучать. Но пока они летят вниз, и этот полёт пьянит их сильнее сухого мартини.»

Я закрыл ноутбук, встал, подошёл к окну и прижался лбом к холодному стеклу.

Дождь не прекращался. Клёны во дворе качались под ветром, чёрные, мокрые, потерявшие все листья. Они казались мёртвыми. Но я знал, что под корой, глубоко внутри, их соки просто замедлили бег, подчиняясь зимнему закону.

Я пытался вызвать в себе хоть какое-то чувство. Обиду, ревность или хотя бы ту старую, привычную тоску, которая когда-то не давала мне спать в Москве. Но внутри было сухо, пусто и пыльно. Как в пустой аудитории после лекции.

Они просто взяли и шагнули за край.

Я посмотрел на серый кремнистый камень с холмов Котсуолдса. Я не собирался шагать за край. Я ещё не знал, что иногда край сам делает шаг навстречу.

Я отхлебнул остывшего чая. Он был горьким и терпким.

Я открыл почту и написал короткий ответ Лёве:

«Пусть у них всё сложится. Береги себя. Как дела на кафедре?»

Потом я нажал кнопку «отправить». Письмо исчезло в сети за долю секунды. Ещё один процесс, лишённый веса и существования.

Эмма вернулась в одиннадцатом часу. От её куртки пахло холодной влагой и стеклянной чистотой химической посуды. Я обнял её, почувствовав, какая у нее холодная кожа на щеках.

— Что-то случилось? — спросила она, вглядываясь в моё лицо.

— Пришло письмо от Лёвы, — сказал я.

— Плохие новости из Москвы?

— Нет. Просто новости.

Я рассказал ей про Катю и Левина. Про Бруклин. Про их прыжок через океан.

Эмма слушала, медленно распутывая мокрый шарф. Лицо оставалось спокойным.

— А что здесь странного, Костя? — спросила она.

— Это же чистая дурость, — вывалось у меня. — Ни плана, ни фундамента. Прыжок с крыши в надежде, что внизу случайно окажется стог сена.

Эмма тихо улыбнулась. В этой улыбке было слишком много женской снисходительности к мужской прямолинейности.

— Не всё в мире подчиняется твоей теории управления, — сказала она. — Иногда людям просто нужно сломать старый компас, чтобы наконец оторвать взгляд от стрелки и посмотреть на звёзды. Ты не понимаешь этого, потому что ты строитель. Ты закладываешь фундамент, рассчитываешь нагрузку, планируешь каждый шаг. В этом твоя сила. Но другие люди хотят просто чувствовать, что они ещё живы. Даже если для этого нужно замёрзнуть на чужом вокзале.

Она подошла и коснулась пальцами моего лба, словно пытаясь разглядеть морщину между бровей.

— Пойдём спать, — тихо сказала она. — Завтра будет новый день.

Во вторник пришёл Уилсон. Мы разложили на столе листы с графиком подготовки моей диссертации.

— Три года, — сказал Уилсон, постукивая карандашом по календарному плану. — Тридцать шесть месяцев. Никаких резких движений. Наука не любит спешки. Статья в Automatica даёт нам право на методичную работу.

Я разглядывал аккуратные квадраты. Первый год — обзор и постановка. Второй — основные результаты. Третий

— оформление текста и предзащита. Всё разбито на недели. На маленькие, безопасные отрезки времени.

— Есть возражения? — поднял брови Уилсон.

— Нет. Всё предельно ясно.

— Вот и отлично. Повесьте это над столом. Хороший распорядок спасает от дурных мыслей лучше любой библии.

Он ушёл, оставив в комнате слабый запах трубочного табака. Я прикрепил лист к стене. Каждое утро я смотрел на него перед работой. Это было моё расписание безопасности.

Дни потекли один за другим. Серые. Похожие на капли из неисправного крана. Ноябрь сменился декабрём. Зима пришла без снега, но с густыми, тяжёлыми туманами.

По утрам Кембридж тонул в белой сырой вате. Старые каменные колледжи казались призраками, проступающими сквозь мглу. Река Кем текла медленно, тёмная и тяжелая, как жидкий свинец. Крупные капли с тихим стуком падали с голых ветвей ив в воду. Трава на газонах оставалась зелёной тем странным, мертвенным зелёным цветом, не знающим тепла. Иногда сквозь серую пелену пробивался бледный, холодный луч солнца. Он не согревал, но заставлял мокрые крыши колледжей блестеть, словно они были вырезаны из чистого сланца.

Я работал. Я просыпался, заваривал чай, садился за стол. Я уходил в формулы. Это было хорошее состояние. Цифры не лгали. Они не уезжали в Нью-Йорк и не молчали в ответ на запросы.

В середине декабря пришло новое письмо от Лёвы. Оно было пропитано той безнадежностью, которая рождается только на кафедрах теоретической физики холодными московскими зимами.

Он писал о Маркове. Тот заперся в лаборатории на Физтехе и работает по восемнадцать часов в сутки, пытаясь доказать гипотезу Громова.

«Марков сгорит. И страшнее всего, что он это понимает. Он выбрал вершину. Там красиво, там разреженный воздух и кружится голова. Но там нельзя жить долго. Лёгкие там просто разрываются от пустоты.»

Дальше Лёва писал о Кате:

«Время — странная штука. Чем больше у тебя гарантий и покоя, тем быстрее оно течёт. Мозг — плохой архивариус: он фиксирует только трещины, шрамы и боль, а ровные счастливые дни выбрасывает, как мусор, чтобы сэкономить память. Твои пять благополучных лет сожмутся в один миг, а Катин год в Бруклине, полный неопределённости и страха, покажется ей целой жизнью. Может, поэтому она и уехала. Она хотела продлить жизнь, сделав её невыносимой.

Ты выбрал свою аккуратную английскую теплицу, а Катя прыгнула в бездну. Поначалу падение легко принять за полёт.»

Я перечитал письмо Лёвы и посмотрел на график на стене. Аккуратные столбцы. Три года. Сто пятьдесят шесть недель.

Он был прав. Я не помнил прошлый понедельник. Дни сливались в один бесконечный, тёплый, отрегулированный процесс.

Эмма неслышно подошла сзади и положила прохладные ладони мне на виски. Она увидела, что я сижу перед выключенным ноутбуком.

— Опять Лёва? — спросила она.

— Да. Пишет, что Катя счастлива в Бруклине.

— И тебя это мучит?

— Меня это удивляет, — сказал я. — Счастье, построенное на руинах и неопределённости, — это плохая конструкция. Она должна рухнуть при первом же кризисе.

Эмма прижалась щекой к моей голове.

— Может быть. Но пока она стоит, эта конструкция прекрасна. Прекраснее любого железобетонного фундамента. Не думай об этом. Лёва слишком много рассуждает, потому что у него самого ничего не происходит.

— Наверное, — сказал я.

Но ночью мне приснился Нью-Йорк. Я никогда там не был. Во сне он был бесконечной сеткой чёрных координат, уходящих в туман. И по этим координатам, спотыкаясь, шли люди с чемоданами, у которых не было лиц.

На праздники мы уехали в Котсуолдс.

Здесь зима была настоящей. Холмы лежали под низким оловянным небом — огромные, пологие, как застывшие вол-

ны окаменевшего моря. Лощины были покрыты тонким слоем зернистого снега, похожего на просыпанную соль. Ветви старых дубов на гребнях холмов звенели от мороза. Воздух был чистый и такой колкий, что от каждого вдоха першило в горле. Пахло замёрзшей глиной, хвоей и сухими листьями.

Мы гуляли часами. Мои тяжёлые ботинки хрустели по замёрзшей грязи. Эмма шла рядом, засунув руки в карманы куртки. Её лицо порозовело от холода.

— О чём ты молчишь? — спросила она, когда мы остановились у старой каменной изгороди.

— О Женьке, — сказал я. — Он просто исчез из научного поля.

— Это его выбор. Он вышел из игры.

— Математика — не игра, — сказал я. — Это поиск истины.

— Иногда истина оказывается слишком холодной, — тихо сказала она. — Тогда люди уходят греться к обычному человеческому костру. Как твоя Катя.

— А мы?

— А мы построили отличный, прочный дом, — она улыбнулась и взяла меня за руку. — И нам в нём тепло. Разве этого мало?

— Не знаю, — сказал я, глядя на темнеющие холмы вдаль. — Наверное, в самый раз.

В новогоднюю ночь мы не устраивали праздника. Мы си-

дели у камина в доме её матери. Дрова прогорели, превратившись в груды багровых, дышащих жаром углей; время от времени они с тихим щелчком оседали, выбрасывая сноп золотых искр, гаснувших в чёрной пасти дымохода.

Мы пили терпкое тёмное вино из тяжёлых стаканов.

— Лёва написал бы, что Новый год — это детская сказка для тех, кто боится темноты, — сказал я, глядя на огонь. — Время не знает стрелок, каким бы дорогим не был ваш хронограф. Оно просто льётся сплошным потоком, без начала и конца.

Эмма прислонилась головой к моему плечу. Её дыхание было тёплым и ровным.

— Твой Лёва — просто умный дурак, — тихо сказала она. — Даже если он прав. Людям нужны эти иллюзии. Без них дорога кажется слишком длинной и слишком тёмной. Перестань думать о времени. Просто побудь со мной здесь.

Я обнял её. Под моими пальцами чувствовалось мерное, спокойное биение её сердца.

За окном, в морозной темноте, шумел ветер, путаясь в ветвях старого вяза. Но здесь, у камина, было тепло. Угли давали ровный жар, постепенно затягиваясь серым, бархатным пеплом.

Это было наше крошечное укрытие. Единственное место на земле, где нам пока ещё разрешали оставаться в живых.

Глава третья: Уравнение с тремя неизвестными

Со второго семестра мне дали тьюторство. Три первокурсника. По часу в неделю на каждого. Мы разбирали задачи из экзаменационных листов. Колледж платил двадцать фунтов в час. Это были чистые, хорошие деньги. К тому же работа заставляла меня отвлекаться от собственной диссертации. Когда ты слишком долго смотришь в одну точку, все линии начинают казаться кривыми.

Первого студента звали Джеймс Холлоуэй. Он был высоким, крепким парнем из Винчестера, со светло-соломенными волосами и ровной, здоровой кожей. Его отец вёл крупные дела в суде, мать управляла инвестициями в Сити. Джеймс носил добротный твидовый пиджак и длинный шерстяной шарф своего колледжа. Он говорил неторопливо, слегка растягивая гласные, как человек, который твёрдо знает, что мир создан именно для него и торопиться ему некуда.

Он приходил минута в минуту, садился прямо, не касаясь спинки стула, доставал блокнот в переплёте из телячьей кожи и тяжёлую перьевую ручку. Джеймс слушал меня внимательно, изредка кивая. У него не было озарений, но не было и глупых ошибок. Он решал задачи методично, как аккуратный чиновник перекладывает бумаги из одной стопки в другую. Если что-то казалось ему неясным, он просил объ-

яснить ещё раз, записывал пояснения своим ровным, округлым почерком, благодарил и уходил. После занятий его ждала академическая гребля на реке или репетиция в хоре капеллы.

Для Джеймса математика была просто элементом хорошего воспитания. Вроде умения держаться в седле или поддерживать беседу о французских винах. Он не собирался посвящать жизнь науке. После бакалавриата его ждало место в банке. Так жил его отец. Так жил его дед. Весь этот университет был для него лишь красивым залом ожидания перед большой и сытой жизнью.

Вторым был Пол Картрайт. Он приехал из Манчестера. Худой, угловатый, с красными прыщами на лбу и вечно обкусанными ногтями. Его отец работал автомехаником, мать — медсестрой в муниципальной больнице. Пол носил застиранный свитер грубой вязки и потёртые джинсы с бахромой по низу. Он появлялся за пять минут до назначенного часа, садился на самый край стула и нервно крутил в пальцах дешёвую шариковую ручку.

Он думал быстрее, чем успевал записывать. Решения Пола были стремительными, порой гениальными, но его тетрадь выглядела ужасно. Он пропускал промежуточные выкладки, путал знаки и писал так, словно за ним кто-то гнался.

— Пол, — говорил я ему, глядя на его каракули. — Тебе нужно замедлиться. На экзамене никто не станет расшифро-

вывать твои мысли.

— Я знаю, — бормотал он, глядя в окно своими лихорадочными, голодными глазами. — Но когда я вижу ответ, мне скучно записывать то, что лежит между началом и концом. Это пустая трата времени.

Он был гораздо умнее Джеймса. На голову выше. Но Джеймс всегда получал на промежуточных тестах высший балл, а Пол едва дотягивал до среднего. Джеймс понимал правила игры и уважал их. Пол презирал правила, потому что они мешали ему лететь вперёд. Он напоминал мне Женьку. Такая же дикая, неуправляемая ментальная энергия, обречённая разбиться о гранитные стены методологии.

Теперь я сидел по ту сторону кафедры. Я был той самой стеной, о которую он когда-нибудь разобьётся. И от этой мысли во рту у меня оставался вкус дешевой меди.

Третьим был Рави Пател из Бомбея. Маленький, темнокожий, в круглых очках в тонкой металлической оправе. Его родители отдали все свои сбережения, чтобы отправить сына в Кембридж. Рави жил в постоянном, леденящем страхе. Он боялся показаться глупым. Боялся не оправдать надежд. Боялся, что его отправят обратно в душный Бомбей.

Он знал все формулы наизусть. Его память была феноменальной, как у жёсткого диска. Но у него совершенно отсутствовала интуиция. Он зубрил мои объяснения слово в слово, как священные тексты на чужом мертвом языке, повторяя их одними губами.

— Рави, — пытался я ему объяснить, — формулы — это просто язык. Тебе нужно научиться чувствовать то, о чём они говорят, а не просто повторять слова.

— Да, сэр, — тихо отвечал он, преданно глядя на меня снизу вверх. — Я выучу это к следующему разу, сэр.

И он уходил, чтобы снова зубрить.

Все трое были очень способны. Все трое мне нравились. Но между нами лежала пропасть.

На Физтехе мы не просто учились. Мы проходили жёсткий естественный отбор. Сессия там была проверкой на предельную нагрузку. Те, у которых обнаруживался внутренний дефект, просто выбрасывались за борт без права на апелляцию. Мы учились так, словно от этого зависела наша жизнь. И, по сути, так оно и было. А здесь всё было слишком цивилизованно. Мягко. Вежливо. Слишком много условностей и слишком мало подлинного голода.

После занятий я возвращался на нашу квартиру в Берелс-филд.

Март выдался сырым и туманным, но в воздухе уже чувствовалось неуловимое дыхание близкой весны. По утрам над рекой Кем стояла тонкая, серебристая дымка. Старые плакучие ивы, опустив свои голые, гибкие ветви к самой воде, казались погружёнными в глубокий, мирный сон. Вода в реке была тёмной, гладкой, как стекло. Лишь изредка на её поверхности бесшумно расходились круги от лёгкого вздоха

проснувшейся рыбы. Воздух пах мокрым деревом, прелым листом и свежестью после затяжного ночного дождя. Земля, ещё холодная и чёрная, словно прислушивалась к чему-то, готовая вот-вот очнуться и зазеленеть.

Эмма обычно уже была дома. Она сидела на диване, поджав ноги, и читала толстые научные журналы. Из кухни пахло жареной рыбой и лимоном.

— Как твои подопечные? — спрашивала она, поднимая голову от страниц.

— Джеймс совершенствуется в манерах, Пол рвется расшибить себе лоб, а бедняга Рави заучивает мои вздохи, — говорил я, снимая мокрое пальто.

— Из тебя вышел хороший наставник. Ты серьёзно к этому относишься.

— Вряд ли, — говорил я. — Я просто показываю им, как работают чужие теоремы. Своих у них пока нет.

Мы ужинали. Эмма готовила просто, без кулинарных изысков. Но в её движениях на кухне была та же удивительная, лёгкая точность, что и в её лабораторных тестах. Она успевала всё: работать, следить за нашими закупками, готовить и бегать со мной по утрам. Её жизнь двигалась по какому-то своему, идеально настроенному алгоритму, который работал без сбоев и шума.

По утрам мы бегали вдоль реки. В любую погоду. В тумане, под мелким английским дождём, по раскисшим тропинкам.

Мы бежали молча. Воздух обжигал лёгкие. Под ногами хлюпала мокрая трава. Эмма бежала впереди — тонкая, с ровным, красивым шагом. Её короткие волосы намокали от сырости и закручивались на затылке. Я держался чуть позади, глядя на ритмичное движение её плеч. В эти минуты не нужно было думать о формулах. Существовал только этот бег, холодный воздух и ровный стук наших кроссовок по земле. Может быть, это и было счастье: устать так, чтобы в голове не осталось ни одной формулы.

Потом мы возвращались, пили горячий чай, и она уходила в свою лабораторию. Я оставался один и садился за рабочий стол.

В один из мартовских вечеров я заметил на её столе огромную стопку распечатанных статей по нейробиологии. Они были испещрены её аккуратными пометками красными чернилами.

— Твоя база данных растёт, — заметил я, кивая на стопку.

— Да, — сказала она, не отрываясь от работы. — Нужно закончить обзор по синаптической пластичности до конца месяца.

Я посмотрел на неё. Она выглядела уставшей. Под глазами залегли лёгкие тени. И вдруг мне стало стыдно — по-настоящему, до кома в горле.

— Эмма, — сказал я. — Как продвигается твоя диссертация?

Она подняла на меня свои спокойные серые глаза.

— Нормально. Экспериментальная часть почти завершена. Данных достаточно для хорошей публикации.

Я молчал, чувствуя себя последним эгоистом.

— Прости меня, — сказал я, присаживаясь на край ее стула. — Я давно не спрашивал тебя об этом.

— Ты каждый вечер спрашиваешь, как прошел день, — удивилась она.

— Это другое, — сказал я. — Это просто вежливость. Я так глубоко зарылся в свои уравнения и в свои амбиции, что совсем перестал замечать, чем живешь ты.

Она захлопнула тетрадь и улыбнулась — тепло, с легкой грустью женщины, которая знает о мужчинах гораздо больше, чем они сами о себе думают.

— Глупый мой гений! Всё в порядке. Я сама так устроила. Я не пускаю свою работу в наш дом. Институт — там, за порогом. А здесь мы просто живём. Я не хочу обсуждать свои графики в нашей постели.

— Но это несправедливо, — упорствовал я. — Я завалил весь дом своими черновиками, а ты ведёшь себя так, будто твоя наука — это просто хобби между приготовлением ужина и уборкой.

— Моя наука — это моя наука, — спокойно ответила она. — У меня нет времени на бесплодные метания перед чистым листом. Я знаю, что мне нужно сделать, делаю это и закрываю дверь лаборатории. У нас разные методы. Ты теоретик,

ты должен мучиться. А я экспериментатор. Мои лягушки не будут ждать, пока у меня проснется вдохновение.

Она говорила спокойно. Но я заметил, что стопка статей уже убрана в ящик стола. Аккуратно, как убирают ценное. Её наука всегда была убрана с моих глаз. Тогда я объяснил это ее врожденной аккуратностью.

— Ты гораздо сильнее меня, Эмма, — сказал я.

— Может быть, — она обняла меня, уткнувшись носом в моё плечо. — Или просто я не пытаюсь найти в биологии ответы на вопросы о смысле жизни. Расскажи лучше, как там твой Рави. Он перестал извиняться перед каждым интегралом?

Мы тихо рассмеялись. Но укол вины внутри меня не проходил.

— И всё-таки, — спросил я чуть позже, когда мы пили чай. — О чём твоя работа? Только по-человечески, без латыни.

Она помолчала, согревая пальцы о горячую глину чашки, а потом начала рассказывать. О том, как нейроны в мозге формируют новые связи под воздействием внешних стимулов. Как молекулы белка выстраивают мосты между клетками, закрепляя опыт и превращая его в память. О том, что заставляет человека всю жизнь помнить запах мокрого асфальта в чужом городе или голос матери. Она говорила об этом простыми, ясными словами, лишёнными пафоса. Но в её голосе была та скрытая, глубокая страсть, которую невоз-

можно подделать.

— Это очень красиво, — сказал я.

— Биология — грязная наука, — улыбнулась она. — В ней много слизи, запаха формалина и мёртвых тканей. Это не твоя чистая математика, где всё идеально и пахнет только хорошей бумагой.

— Но твоя грязь живая, — сказал я. — А мои чистые формулы существуют только в моей голове.

Мы замолчали. За окном шумел мелкий, тёплый мартовский дождь.

— Лёва сказал бы, что мы так пристально вглядываемся в горизонт в поисках великих открытий, что перестаём замечать тех, кто идёт с нами рядом по одной дороге.

Эмма тихо рассмеялась.

— Твой Лёва — очень умный и очень несчастный человек. Он препарирует жизнь вместо того, чтобы просто жить.

— Он не несчастный. Он просто реалист.

— Это почти одно и то же, — сказала она и положила голову мне на колени.

Я перебирал пальцами её короткие, мягкие волосы.

— Лёва больше не писал? — спросила она.

— Нет. Думаю, у него много работы на кафедре. В последнем письме он упомянул, что Катя счастлива на новом месте. Но я не понимаю, как можно быть счастливой в чужой стране, живя на чужие деньги в чужой квартире.

— Счастье — это не отсутствие трудностей, — тихо ска-

зала Эмма, прикрыв глаза. — Может быть, для неё счастье — это просто возможность проснуться утром и знать, что старая жизнь закончилась и никто больше ничего от неё не требует. Люди ломают свои компасы не потому, что они слупы, а потому, что старые карты больше не ведут туда, куда им нужно.

— Я не хочу ломать свой компас, — сказал я. — Я хочу просто дописать эту чёртову диссертацию. И чтобы ты была здесь.

— Ты допишешь, — сказала она. — Я не дам тебе сбиться с пути. Обещаю. И я никуда не уйду.

На следующее утро мы снова бежали вдоль реки.

Туман был густым, как парное молоко. Он лежал на воде, скрывая противоположный берег Кема. Старые вязы проступали сквозь него серыми великанами. Воздух был влажным и холодным. Он пах речной тиной и мокрой корой.

Эмма бежала впереди. Её серая куртка то исчезала в белой мгле, то появлялась снова. Я бежал за ней, ловя ритм её движения. Мы добежали до старой мельницы в Грантчестере, остановились и долго смотрели, как тёмная вода с шумом падает сквозь шлюзы, оставляя на поверхности клочья белой пены.

— Хорошо, — сказала она, тяжело дыша. На её ресницах дрожали мелкие капли тумана.

— Да, хорошо, — повторил я. И это была чистая правда.

Мы побежали обратно. К нашему тёплому дому, к капающему крану на кухне, к книгам и формулам.

Днём у меня было занятие с Джеймсом. Он решал задачи медленно, аккуратно выводя каждый символ своей дорогой ручкой. Всё было выполнено безупречно, без единой поправки.

— Отлично, Джеймс, — сказал я, возвращая блокнот. — Вы редкий образец надежности.

— Мой отец говорит, что порядок бережет деньги лучше любого сейфа, — он намотал на шею длинный шарф и ушёл на репетицию хора.

Я остался один у высокого окна. Небо над башнями колледжа наливалось вечерней синевой.

Эмма была права. У каждого свой крест и своя мера. Джеймс станет отличным банкиром и проживёт долгую, спокойную жизнь в своём поместье. Пол, возможно, совершит прорыв в науке, если не сопьётся или его не вышвырнут из университета за небрежность. Рави вернётся в Бомбей, устроится в хорошую фирму, отдаст долги отца и до седых волос будет ловить каждый вздох своего начальства.

Марков сгорит дотла в своей лаборатории на Физтехе, пытаясь доказать недоказуемое. Лёва будет пить остывший чай в пустой профессорской и выдумывать горькие афоризмы о чужих судьбах. Катя будет сидеть на кухне в Бруклине, глядя на чужие крыши, и думать о том, стоил ли её полёт того места, куда она приземлилась.

А я буду здесь. В Кембридже. С этой женщиной, которая умеет оставлять науку за порогом своего дома. Я защищу диссертацию, буду писать статьи и учить студентов.

Это был мой ритм. Моя траектория. Моя система координат.

Я закрыл тетрадь, выключил лампу и пошёл домой.

В нашей квартире пахло чесноком, розмарином и теплом. Эмма стояла у плиты.

— Как всё прошло? — спросила она, не поворачиваясь.

— Нормально, — сказал я. — Джеймс без ума от своей собственной аккуратности.

— Это неплохое качество для жизни.

Я подошёл к ней сзади, обнял за талию и уткнулся лицом в её тёплую шею, пахнущую лавандой.

— Спасибо тебе, — тихо сказал я.

— За что? — она повернулась в моих руках, удивлённо глядя мне в глаза.

— За то, что ты здесь. За то, что в этой системе уравнений у меня есть хотя бы одна известная величина.

Она улыбнулась и поцеловала меня в губы. Быстро и нежно.

— Я никуда не собираюсь исчезать, Костя. А теперь мой руки и садись за стол. Ужин готов.

Мы ужинали, пили сухое вино и говорили о каких-то пустяках. За окном шумел дождь, ветер качал мокрые ветви клёнов, но нам было всё равно.

Все наши приборы работали исправно. Координаты дома были верны.

Глава четвертая: Совместная работа

Апрель пришел с сырыми, прозрачными рассветами. В низинах у реки воздух был тяжелым и липким от тумана. На вербах набухли почки, покрывшись мягким серебристым пушком, и в безветренные часы казалось, что над кустами стоит лёгкое, невесомое облако. Небо лежало над городом, как тонкий холодный полог. Временами налетал резкий ветер. Он колот лицо, пах талым снегом с дальних холмов и гнал по тёмной воде мелкую рябь. В такую весну трудно поверить, что земля когда-нибудь снова станет теплой.

В апреле пришло письмо от Маркова.

Оно было коротким. Без приветствий и лишних слов. Марков защитил кандидатскую у Громова. Теперь сидел в лаборатории и бился над задачей из квантовой оптики. Ему нужен был математический аппарат для систем с нелинейным запаздыванием. Он предлагал поработать вместе.

Я перечитал письмо трижды.

Марков никогда не просил о помощи. В его мире просить означало расписаться в собственной неполноценности. Он всегда шёл один, как тяжёлый ледокол, пробивая дорогу сквозь самые твёрдые глыбы уравнений. Если он написал мне, значит, лёд стал толще, чем он ожидал. Или времени оставалось меньше, чем он хотел показать.

Я дал письмо Уилсону. Мы сидели в его кабинете. Окно

было открыто. От реки тянуло сыростью и горьковатым запахом лопнувших почек. На столе лежал мой график диссертации, расчерченный по неделям — хорошая иллюзия порядка.

Уилсон долго читал письмо. Потом снял очки, протёр стёкла фланелью и аккуратно надел их обратно.

— Квантовая оптика? — спросил он.

— Да. Лазерные системы с обратной связью. Там возникает хаос, если запаздывание нелинейно.

— И он хочет применить ваш метод?

— Да.

Уилсон кивнул и посмотрел на верхушки вязов за окном.

— Это хорошее дело, Константин. Первое настоящее испытание для вашей теории в полевых условиях. Чистая прикладная задача — лучший аргумент для диссертационного совета. Но не теряйте контроля над временем.

— Я буду собран, — сказал я. — Три-четыре часа в неделю по субботам. Мы будем созваниваться.

— Хорошо, — сказал он. — Я одобряю.

Он достал из шкафа бутылку хереса и налил два тяжелых стакана. Вино было сухим, тёмным и пахло дубовой корой. Мы выпили молча. Херес согревал грудь. В нашей работе, как и в жизни, мало хороших лекарств, но глоток крепкого вина в сырой весенний день — одно из лучших.

— Ваш друг действительно так хорош? — спросил Уилсон, ставя стакан на стол.

— Он лучший из всех, кого я знаю, — сказал я. — Абсолютный результат на международной олимпиаде. Статья в ведущем физическом журнале в двадцать лет. Он работает так, словно у него внутри заведён мотор, который невозможно остановить.

— Такие моторы чаще всего сгорают первыми, — сказал Уилсон.

Я промолчал.

— И теперь он обратился к вам, — тихо произнёс он. — Люди умнеют, когда задача оказывается больше их собственной гордыни.

Я согласился. Мы договорились созваниваться по субботам в восемь утра по Кембриджу. В Москве в это время было одиннадцать.

В первую субботу я проснулся на рассвете. Эмма спала, зарывшись лицом в подушку. Её дыхание было тихим и мерным. Я прошёл на кухню, сварил крепкий чёрный кофе и сел за стол. Компьютер тихо гудел. На кухне капал кран. Ровно, монотонно, как равнодушный счетчик, которому было всё равно, кто сегодня не спит.

Звонок раздался ровно в восемь.

На экране появилось лицо Маркова. Он сидел в своей лаборатории на Физтехе. Позади него высилась огромная грифельная доска, исписанная мелкими, плотными рядами формул.

— Привет, Костя, — сказал он. Голос звучал глухо, как из глубокого колодца.

— Привет.

Он сильно сдал. Щёки впали, под глазами лежали тёмные, почти чёрные тени. Но глаза блестели тем лихорадочным, сухим блеском, который бывает у людей, переставших различать усталость и волю.

— Как дела? — спросил я.

— Нормально. Кандидатскую защитил. Теперь нужно распутать этот узел. Громов требует физический эксперимент, но без математической модели мы действуем вслепую.

Он говорил коротко, экономно, отсекая всё лишнее. Так говорят люди, которые берегут каждую секунду, потому что знают: запас не бесконечен.

— Расскажи о нелинейности, — сказал я.

Он начал чертить на доске схемы, показывая пальцем на уравнения. Физика была сложной. Свет проходил через кристалл, возвращался в резонатор с задержкой, и задержка зависела от его собственной интенсивности. Возникла петля обратной связи. Стандартная линеаризация здесь пасовала.

— Нужен твой топологический метод, — сказал Марков, глядя на меня сквозь экран. — Нужно доказать существование неподвижной точки в бесконечномерном пространстве.

— Задача красивая, — сказал я, делая пометки в блокноте. — Пришли точные граничные условия. Я посмотрю, как адаптировать оператор.

— Сегодня отправлю.

Мы помолчали. В динамиках шуршали помехи далёкой связи. Было странно видеть его таким близким и понимать, что между нами лежит вся Европа, две разные жизни и старая московская иерархия, в которой он всегда был впереди.

— Марков, — сказал я. — Ты ведь никогда не работал в соавторстве. Что изменилось?

Он посмотрел на свои руки, испачканные мелом. Потом снова на меня.

— Время, Костя. Раньше мне казалось, что впереди вечность и я могу позволить себе роскошь изобретать всё заново. Теперь я вижу, что вечности нет. Громову нужны статьи в международных журналах до конца года. Мне проще взять готовый инструмент у тебя, чем потратить полгода на изучение функционального анализа. Это расчёт эффективности.

— Ты стал прагматиком.

— Нет, — сказал он. — Я просто начал считать потери.

Он выключил камеру.

Эмма неслышно вошла на кухню, когда я закрывал ноутбук. Она была босой, в моей старой фланелевой рубашке, которая почти полностью скрывала её шорты. Ее светлые волосы были растрёпаны после сна.

— Это был Марков? — спросила она, наливая себе воду.

— Да. Мы начинаем совместную работу. Уилсон дал добро.

— Это хорошо, — она подошла и обняла меня, положив подбородок мне на плечо. — Хорошо, что он перешагнул через себя и решил тебе написать.

— Лёва сказал бы, что волки сбиваются в стаю, только когда чуют загонщиков, — сказал я, глядя на остывающую чашку кофе. — Сильные делятся силой только тогда, когда понимают, что в одиночку не выживут. Мы строим общую плотину не потому, что любим друг друга, а потому, что река слишком глубока для каждого.

Эмма тихо улыбнулась и поцеловала меня в шею.

— Твой Лёва слишком любит красивые формулировки. Иногда люди работают вместе просто по старой памяти. Потому что были молоды вместе.

— В науке нет старой памяти и нет друзей. Есть те, кто решает задачу, и те, кто стоит в стороне.

— Пойдём гулять, теоретик, — сказала она. — Тебе нужно проветрить голову.

Мы вышли к реке.

Весна уже вступила в свои права, но это была северная весна, строгая и печальная. Солнце, бледное и чистое, как оловянное блюдо, стояло над мокрыми крышами колледжей. Оно почти не грело. В воздухе пахло молодой травой, речной сыростью и берёзовыми почками. На прибрежных ивах серебрились тонкие ветви.

Мы шли молча. Под ногами шуршал мокрый гравий. Эмма держала меня за руку, и её пальцы были тёплыми.

Я думал о Маркове. О его впалых щеках, руках, испачканных мелом, и слове «потери». Он говорил о статьях и сроках, но за этим стояло что-то другое. Не страх даже. Скорее холодное знание человека, который долго шёл напролом, и в какой-то момент начал понимать цену каждого удара о лёд.

Эмма сжала мою руку.

— Ты опять ушёл в свои мысли, — сказала она.

— Да.

— Возвращайся.

Я посмотрел на реку. Тёмная вода текла спокойно и тяжело. На поверхности дрожала мелкая рябь. Всё двигалось дальше. Даже то, что казалось неподвижным.

— Я здесь, — сказал я, но не был уверен, что это правда.

Вечером пришли файлы от Маркова. Физическая модель была выстроена безупречно. Мощная, красивая работа. Я читал её до полуночи и понимал, что свою часть он сделал честно. Теперь была моя очередь.

Весь следующий день я просидел за столом, втискивая его лазерные нелинейности в рамки своего топологического оператора. Это было похоже на попытку уложить дикого зверя в клетку: прутья гнулись, уравнения трескали, но постепенно логика брала своё.

Каждую субботу мы созванивались. Два часа жёсткого, концентрированного спора. Мы не тратили время на расспросы о жизни. Мы говорили на языке формул. Это был

единственный язык, на котором мы ещё могли быть открытыми.

Я видел, как Марков угасает. С каждой неделей его лицо становилось все более прозрачным, а круги под глазами приобретали синеватый, нездоровый оттенок. Он почти перестал выходить из лаборатории. Но его ум работал с точностью швейцарского хронометра. Он ловил мои мысли на лету, исправлял неточности и мгновенно переводил абстрактную математику на язык физического эксперимента.

В конце мая я спросил:

— Марков, ты когда в последний раз спал по-человечески?

— Не отвлекайся, — отрезал он. — Давай вернёмся к норме оператора.

— Посмотри на себя в зеркало. Ты выглядишь так, будто тебя пропустили через центрифугу.

Он коротко усмехнулся.

— Отоспимся, когда закончим. У меня другие новости, Костя. Я подаю документы на постдок.

Я замер с ручкой в руке.

— Куда?

— В Колумбийский университет. В Нью-Йорк. Там открывается новая лаборатория квантовой оптики под руководством Штейна. Они получили крупный грант.

Я смотрел на него через экран. В горле пересохло.

— Нью-Йорк — хороший город, — сказал я как можно

спокойнее. — И группа Штейна сильная.

— Да, — сказал он. Его взгляд на секунду сместился в сторону. — И там... там есть перспективы.

В Нью-Йорке была Катя. Он знал это. Я знал, что он знает. Но мы оба молчали, словно этой темы не существовало. Это был наш негласный договор — оставлять всё лишнее за границами уравнений.

— Когда дедлайн? — спросил я.

— В октябре. К этому времени наша статья должна выйти в печать. Это мой главный козырь.

— Мы успеем, — сказал я.

— Спасибо, Костя.

Мы попрощались. Экран погас. Я сидел перед чёрным монитором и видел в нём своё отражение — бледное, с такими же, как у него, тенями под глазами. Разница между нами была лишь в том, что он летел на огонь, как ночная бабочка, а я сидел на месте и пытался сберечь скудное тепло.

Вечером я рассказал обо всем Эмме. Мы сидели в гостиной, а за окном сгущались синие сумерки.

— Марков хочет уехать в Нью-Йорк, — сказал я, глядя на полоску света под дверью.

Эмма медленно закрыла книгу, оставив палец между страниц.

— Там ведь Катя?

— Да.

— Он едет за ней?

— Не знаю, — сказал я глухо. — Марков никогда не был романтиком. Он всегда считал ходы наперед. Но, может быть, у каждого компаса есть особое место, на котором его стрелку клинит, сколько им ни тряси.

— Все вы были в неё влюблены, правда? — тихо спросила она, всматриваясь в моё лицо.

— Это было в другой жизни, Эмма. Мы были мальчишками, которые играли в олимпиады и верили, что миром правят законы логики. Теперь всё иначе.

Она подошла, села рядом и положила голову мне на грудь.

— Как хорошо, что ты здесь, — прошептала она. — С твоими графиками, Уилсоном и твоей предсказуемой жизнью. Мне не нужны безумные прыжки через океан.

— Мне тоже, — сказал я и провел ладонью по ее волосам.

В комнате пахло лавандой, сухими колосьями и старыми книгами. За окном шёл тихий, ровный дождь, шурша в кронах молодых клёнов.

Я думал о наших путях. Они расходились всё дальше.

Марков сгорал в Москве, чтобы получить билет в Нью-Йорк — поближе к квантовой оптике или к женщине, которую не мог забыть. Лёва сидел на своей кафедре и прятал тоску за едкими письмами. Катя пытаясь построить новую жизнь на обломках старой.

А я был здесь. В Кембридже. С Эммой. Мой график висел на стене. Каждый шаг был просчитан. Всё было надёжно,

правильно и тихо.

Слишком тихо.

Был ли этот путь лучшим? Не знаю. Человеку не дано заглянуть в конец книги. Нам остается только шагать по своей дороге и надеяться, что мост впереди не сожжен.

Дождь усилился. Капли стучали по подоконнику ровно и мерно, словно метроном, отсчитывающий наше тихое, отвоёванное у хаоса время. Всё было на своих местах. Или мне так только казалось.

Глава пятая: Каникулы

Статья вышла в сентябре. Её напечатали в *Physical Review Letters*. Шесть страниц плотного, сжатого текста, где не было ни одного лишнего слова. Математика точной. Физика безупречной. Наш бумажный щит против хаоса.

Первым автором стоял Марков — физическая модель. Потом я — математическое доказательство. Научное руководство — Уилсон и Громов.

Импакт-фактор был высоким. Цитирование началось почти сразу. В нашем маленьком мире это означало признание.

Уилсон вызвал меня к себе. На его дубовом столе не было ничего, кроме аккуратной стопки журналов и серебряного прибора для писем. За окном догорал тёплый сентябрьский день; листья вяза, тронутые золотом, тихо падали на вымокший газон.

— Хорошая работа, Константин, — сказал он, постукивая пальцем по глянцевой обложке. — Это прочный фундамент. Теперь совет не сможет упрекнуть вашу диссертацию в излишней абстрактности. Вы показали, что ваши уравнения умеют управлять реальностью.

Я кивнул. Триумфа не было. Была лишь усталость. Сухая, привычная усталость человека, который долго нёс тяжёлый груз и наконец опустил его на землю.

Марков прислал короткое письмо:

«Статья вышла. Спасибо. Подал в Колумбийский. Это должно помочь».

Я написал одно слово: «Удачи».

Он не упоминал Катю. Я не спрашивал. Мы были как два штурмана, которые знают, что впереди рифы, но продолжают сверять курс по звёздам, не говоря о шторме.

Я не отступал от графика. Работал изо дня в день, с тупым упорством заводского механизма. Уилсон приходил по вторникам, проверял доказательства шаг за шагом и делал пометки тонкими чёрными чернилами.

Эмма следила за мной. Она была моим единственным якорем в этом море формул. Она готовила простую еду, приносила чай и молча напоминала, что за пределами моего стола существует мир, в котором люди дышат, спят и смотрят друг на друга.

В октябре я засиделся за полночь. Формулы расплывались в неверном свете лампы. Голова гудела от перенапряжения. Эмма вошла тихо, босая, в длинной ночной рубашке. Она подошла сзади, положила прохладные ладони мне на виски и мягко потянула назад.

— Хватит, Костя, — тихо сказала она. — Закрывай тетрадь.

— Ещё один абзац, — пробормотал я, пытаюсь удержать ускользающую мысль.

— Нет, — она решительно опустила крышку ноутбука. —

Ты уходишь в свои формулы, как в туман. Твоё лицо становится прозрачным. Я не хочу жить с призраком.

Она взяла меня за руку и увела в спальню. В постели было тепло. Она прижалась ко мне всем телом, уткнувшись носом в ключицу.

— Просто спи, — прошептала она. — Наука никуда не денется за ночь.

И я заснул. Глубоким, тяжёлым сном без сновидений.

К декабрю мы оба выдохлись. Мои уравнения больше не складывались в красивые цепочки, а Эмма по вечерам сидела на диване и часами смотрела в темное окно невидящими глазами. Нам нужна была передышка.

В начале декабря она пришла домой, бросила ключи на стол и сказала:

— Мы летим на Мальту. На все Рождество.

— На Мальту? — я растерянно поднял голову от черновиков. — Но у меня график...

— Твой драгоценный график предусматривает каникулы, — спокойно ответила она. — Две недели. С двадцать третьего по седьмое. Я проверила.

Я посмотрел на стену. В аккуратной таблице действительно стоял пропуск.

— Хорошо, — выдохнул я. — Давай поедем.

Двадцать третьего декабря мы вылетели из Станстеда. Са-

молёт лоукостера был тесным, пах дешёвым пластиком и растворимым кофе. Но когда мы приземлились в Луке, всё это перестало иметь значение.

Мальта встретила нас солнцем. Оно стояло высокое и яркое, и грело по-настоящему, совсем не так, как в Англии. На термометре было семнадцать градусов. После серого, сырого Кембриджа это казалось чудом.

Мы сняли маленькую квартиру в Сент-Джулиансе. С балкона было видно море — огромное, беспокойное, тёмно-синее, почти чёрное у горизонта.

Мы бросили чемоданы и сразу спустились к воде.

Туристов почти не было. По набережной из жёлтого известняка медленно гуляли местные старики в строгих пиджаках и женщины с платками на плечах. Ветер дул с моря — сильный, тёплый, пропитанный солью и водорослями. Волны с грохотом разбивались о плоские скалы, выбрасывая вверх снопы белой пены.

Мы шли молча, подставив лица тёплому солёному ветру.
— Хорошо, — сказала Эмма, зажмурившись от брызг.
— Да, — сказал я. — Чертовски хорошо.

Вечером мы нашли крошечный ресторанчик в переулке. На углях жарилась дорада. Пахло чесноком, оливковым маслом и дымом. Мы заказали рыбу и бутылку местного белого вина. Хозяин, старый толстый мальтиец с добрыми слезящимися глазами, сам принёс приборы.

— Правильно сделали, что приехали сейчас, — сказал он,

разливая вино. — Летом здесь сумасшедший дом. Шум, жара, толпы пьяных англичан. Зимой Мальта принадлежит тем, кто умеет молчать и слушать прибой.

Мы пили холодное сухое вино и ели горячую рыбу, глядя, как за низкими окнами гаснут последние полосы заката. Это было лучшее время.

На следующий день мы поехали в Валлетту.

Старый жёлтый автобус трясся на крутых поворотах, дребезжа всеми своими железными деталями. Эмма держалась за поручень и смеялась, когда автобус кренился.

Валлетта поднялась перед нами огромной каменной крепостью. Город, высеченный из единого куска жёлтого известняка, стоял на мысу между двумя гаванями. Он не строился — он был воздвигнут, как воздвигают стену против врага. Узкие, крутые улицы уходили вверх, к небу, и спускались вниз, к тёмной воде.

Мы вошли через ворота и сразу попали в тишину. Зимой сюда не доезжали толпы туристов. Не было ни гидов, ни шумных экскурсий. Только редкие старики на порогах да кошки, дремлющие на нагретых солнцем плитах.

Мы бродили без цели. Солнце ложилось косыми лучами на фасады барочных палаццо, окрашивая их в тёплый цвет старого золота. Над дверями висели закрытые деревянные балконы — глухие, расписные, как шкатулки. В глубоких тенях переулков пахло сырым камнем, молотым кофе и чер-

ковным ладаном. Каждый переулочек заканчивался внезапно: ступени вниз — и вдруг море, гавань, корабли, врезающиеся в синеву.

Мы поднялись на бастионы. Внизу лежала Большая гавань — та самая, где четыреста лет назад разбилась турецкая армада. Вода была тяжёлой, тёмно-синей. По ней медленно шли баржи и паромы. На противоположном берегу теснились три старых города, прижавшиеся друг к другу, как люди в очереди.

— Они строили всё это, зная, что смерть ходит рядом, — тихо сказала Эмма. Ветер трепал ее короткие светлые волосы.

— Они строили, чтобы продержаться хотя бы еще один день, — ответил я.

Она посмотрела на меня и улыбнулась.

Мы спустились в город. Собор Святого Иоанна снаружи был суровым и серым, как артиллерийский форт. Но внутри он оказался ослепительно красивым: резной позолоченный свод, гобелены, тяжёлый запах воска и ладана. Весь пол был выложен плитами из разноцветного мрамора. Это были надгробия рыцарей ордена. Под нашими ногами лежали сотни имён, стёртых гербов, латинских эпитафий и дат былых битв.

— Все легли в один ряд, — тихо сказала Эмма, глядя под ноги. — И великие магистры, и простые солдаты. Все стали каменным полом.

— Зато честно, — сказал я. — Все равны перед смертью.

Мы шли осторожно, стараясь не наступать на мраморные черепа и рыцарские щиты. Это было странно: идти по чужому праху и былому величию, как по тротуару.

В оратории мы долго стояли перед огромным полотном Караваджо. «Усекновение главы Иоанна Крестителя». Картина была тёмной, страшной и прекрасной. В ней было столько физической правды жизни и смерти, что у меня перехватило дыхание. Великий убийца и великий мастер умел рисовать кровь так, что она казалась священной. Он писал это здесь, на этом острове, спасаясь от приговора. Свою единственную подпись на холсте он вывел в луже крови, вытекающей из перерезанного горла Иоанна.

— Он тоже бежал, — тихо сказала Эмма.

— Все от чего-нибудь бегут, — сказал я. — Просто одни бегут через океан, а другие прячутся на острове.

Потом мы сидели в кафе на площади Республики под тенью старых платанов. Нам принесли пасту с кроликом и холодное пиво Cisk. Солнце грело наши спины. К моим ногам подошла рыжая кошка, покрутилась и легла на теплые плиты, подставив бок солнцу.

Я смотрел на жёлтые стены, на небо, на море в конце улицы. Этот город пережил осады, чуму, бомбёжки. Он стоял, потому что был из камня. Мы были сделаны из другого материала. Но в этот день, на солнце, с холодным пивом и тёплой кошкой у ног, мне казалось, что и мы тоже можем ещё

простоять.

На третий день мы взяли напрокат крошечный серый Fiat. Эмма уверенно вела машину по левой стороне дороги, а я следил за картой.

Мы поехали в Мдину.

Старая столица стояла на вершине холма, господствуя над всем островом. Её называли Безмолвным городом.

И она действительно молчала. Машинам въезд был закрыт. Только узкие улицы, вымощенные гладким камнем, и высокие стены из жёлтого известняка, за которыми прятались дворы и сады. Шаги отдавались гулко, как в соборе. Мы говорили вполголоса, сами не зная почему.

Дома стояли с закрытыми ставнями, словно жилыцы вышли на минуту и вот-вот вернуться. Но этот город опустел столетия назад. Здесь жило сотни три человек. Остальное принадлежало камню, ветру и теням прошлого.

На порогах и ступенях, греясь в лучах нежаркого солнца, спали крупные рыжие кошки. Они даже не открывали глаз на наши шаги, чувствуя себя единственными законными хозяевами этих пустых тупиков.

Мы дважды заблудились в каменных лабиринтах и не стали искать выхода. В Мдине нельзя заблудиться по-настоящему: город слишком мал, чтобы в нём потеряться, и слишком тих, чтобы в нём спешить. Один проулок вывел нас к маленькой площади с колодцем, другой — в тенистую арку,

а третий внезапно распахнулся обрывом крепостного вала.

Мы поднялись на бастион. Отсюда остров лежал как на ладони. Террасы полей, разделённые каменными оградами, плоские крыши деревень, купола церквей и бескрайнее море, сливающееся на горизонте с бледным небом. Когда-то Мдина была столицей и стояла здесь на часах, высматривая галеры пиратов. Потом столица ушла к гаваням, в Валлетту, и Мдина осталась одна. Она не умерла. Она просто замолчала и перестала отвечать на оклики мира.

Ветер здесь был яростным. Он налетал короткими, сильными порывами, пытаясь свалить с ног.

— Здесь некуда торопиться, — сказала Эмма, прижимаясь ко мне. — И время здесь течёт по-другому. Кажется, что его вообще нет.

— Лёва сказал бы, что это иллюзия, — ответил я, обнимая её за плечи. — Он сказал бы, что время просто замедляет ход там, где ничего не происходит, но от этого его разрушительная сила не становится меньше. Оно убивает нас без шума.

— Твоего Лёвы здесь нет, — Эмма посмотрела мне прямо в глаза. — Здесь только ты и я. И это солнце. Перестань препарировать каждый миг. Просто чувствуй его.

Она была права. В её словах было больше простой человеческой правды, чем во всех моих формулах.

Я посмотрел на город за её спиной. Мдина пережила римлян, сарацин, рыцарей, чуму и землетрясение. Она не сопротивлялась времени. Она просто перестала с ним разговари-

вать. И время оставило её в покое.

Может, в этом и был секрет — не бежать, не метаться, а просто замолчать и стоять.

Мы поехали на юг, в Марсашлокк.

Это была рыбацкая деревня, приютившаяся в тихой круглой гавани. Вода в заливе была зеленоватой и спокойной. На ней покачивались десятки разноцветных лодок — луццу. Их борта были выкрашены в яркие синие, жёлтые и красные цвета, а на носу каждой лодки был нарисован всевидящий глаз Осириса — древний оберег от штормов и злых духов.

Деревянные борта с тихим скрипом терлись о причальные сваи. На набережной тянулся вялый зимний рынок. На деревянных прилавках лежала свежая рыба. У неё были прозрачные, выпуклые глаза и чешуя, которая отливала серебром и перламутром на солнце. Она пахла морем и чистой холодной водой.

Мы пообедали в таверне прямо у кромки воды. Нам подали дораду на гриле и осьминога в оливковом масле с лимоном. Еда была простой, честной и очень вкусной.

— Ты возвращаешься к жизни? — спросила Эмма, глядя, как я расправляюсь с рыбой.

— Кажется, да, — я улыбнулся. — Я почти забыл, что у еды может быть вкус, а у хлеба — хрустящая корка.

— Это потому, что ты перестал сверяться с твоим графиком каждые пять минут.

После обеда мы поднялись к утёсам у Голубого грота.

Море внизу штормило. Огромные свинцовые волны с грохотом влетали в каменные арки, разбиваясь о скалы и превращаясь в клочья белой пены. Шум стоял такой, что приходилось кричать.

Мы стояли на самом краю обрыва, глядя вниз, в бушующую, кипящую бездну. Вода была тёмной, почти чёрной, полной дикой, первобытной силы.

— Страшно! — крикнула Эмма в самый шум прибоя.

— Зато честно! — крикнул я в ответ.

Это была та красота, которая не нуждается в доказательствах и теоремах. Она просто существовала. Огромная, равнодушная к человеку и вечная.

Рождество мы встретили в Сент-Джулиансе. Тихо, без праздничной суеты.

Вечером мы пошли на полуночную мессу в местный собор. Нам хотелось быть там, где тепло и поют люди. Собор был полон. Мальтийские семьи — нарядные дети, чинные старики в черном — сидели на скамьях. Горели сотни свечей. Воздух был густым от запаха ладана и воска.

Служба шла на мальтийском — странной смеси арабского и итальянского. Мы не понимали слов, но музыка органа и ровные, согласные голоса прихожан были понятны без перевода. Это была песня о надежде, которая нужна каждому человеку, когда наступает самая долгая ночь в году.

Потом мы вернулись в квартиру. На балконе шумел ночной дождь. Редкий, тёплый южный дождь. Мы сидели на диване, завернувшись в один плед, пили вино и слушали, как капли стучат по стеклу.

— С Рождеством, Костя, — тихо сказала Эмма.

— С Рождеством.

— Ты думаешь о Москве? — спросила она через минуту.

— Иногда, — признался я. — Я думаю о Маркове. О том, как он сейчас сидит в своей холодной лаборатории на Физтехе. Мне жаль его. Он лишил себя этой тишины.

— Он сам выбрал свою дорогу, — Эмма погладила меня по руке. — Ты не можешь спасти всех. Спаси хотя бы себя.

Я обнял её крепче. Её тело было тёплым, живым и пахло лавандой и ветром.

В один из последних дней декабря мы решили отправиться на Гозо. В Англии стояли рекордные морозы, аэропорты засыпало снегом, страна замерзала в своей ледяной ловушке. А здесь, на южной оконечности Европы, зима была лишь затянувшейся серединой осени.

Мы выехали рано, чтобы успеть на утренний паром из Чиркеввы. Наш маленький Fiat тяжело взбирался на холмы; мотор нутно жужжал. Пролив встретил нас крутой, злой волной. Паром, пропахший соляжкой и дешёвым кофе, переваливался с борта на борт. Мы вышли на открытую палубу. Ветер был такой силы, что солёные брызги застывали на

губах белой коркой. Вдали, сквозь водяную пыль, проступал высокий обрывистый силуэт Гозо. Остров казался каменной плитой, брошенной в бушующее зимнее море.

— Держись за поручни, — сказал я.

— Я держусь, — ответила Эмма. Ее капюшон раздувался от ветра, глаза блестели. — Посмотри, какая вода.

Вода была глубокого, почти чернильного цвета, тяжёлая и холодная. В ней чувствовалась огромная масса, неостановимая энергия, которую не могли сдержать никакие берега.

Гозо не был похож на Мальту. Он был грубее, проще, и пах не камнем, а землей.

Мы ехали по узким пустым дорогам, выющим между террасами. Земля была глинистой, густо-рыжей, местами почти красной. Холмы, одетые в блеклую зелень дикого укропа, чертополоха и колючих кактусов-опунций, уходили вдаль мягкими волнами. Солнце пробилось сквозь рваные тучи и облило склоны розовато-жёлтым блеском. Пахло сырой пашней и терпкой полынью. В этой тишине, нарушаемой лишь далёким гулом прибоя, чувствовалось равнодушное величие природы, которой не было дела до человека и его суеты.

Мы приехали в Двейру и вышли к Лазурному окну. Огромная каменная арка нависала над кипящей бездной — чудовищный памятник слепому упрямству природы.

Мы подошли к краю обрыва. Ветер дул снизу вверх, швыряя в лицо водяную пыль. Море с бешеной яростью атакова-

ло подножие каменного исполина. Свинцовые волны с глухим рокотом вкатывались под арку, взбивая крутую пену в узком ущелье. Камень казался вечным, но на его стыках уже виднелись глубокие трещины, промытые солёной водой.

— Какая колоссальная сила, — тихо сказал я, глядя, как вода точит скалу. — Рано или поздно камень устанет, и всё это рухнет в пучину.

Эмма покачала головой. Она стояла у самого края; ветер трепал её куртку.

— Не думай о разрушении, Костя. Посмотри, сколько веков она держится. Она трещит, крошится, но стоит. В этом всё дело. Держать удар, пока можешь стоять.

Она повернулась ко мне, ее лицо было влажным от солевой мороси.

— Мы с тобой тоже держим удар, — добавила она.

— Да, — сказал я. — Но мы из более хрупкого материала.

Я смотрел на арку. Она принимала удар за ударом и не падала. Может быть, прочность — это не отсутствие трещин, а умение стоять с трещинами и не падать.

Мы поехали в Викторию — главный город острова, который местные по-прежнему называли старым именем Рабат. На вершине крутого холма высилась Цитадель — древний оборонительный комплекс из жёлтого камня.

Мы поднялись на крепостную стену. Отсюда Гозо казался крошечным, затерянным в бесконечности Средиземного мо-

ря. На севере угадывалась Сицилия, окутанная зимней дымкой.

Мы спустились в лабиринт узких улиц у подножия Цитадели и нашли маленькую таверну, спрятанную в полуподвале старого дома. Внутри было прохладно, пахло каменной сыростью и старым вином. За деревянным столом двое местных стариков молча играли в карты, не глядя друг на друга.

Хозяин принёс тарелку овечьего сыра джбейна, посыпанного чёрным перцем, домашний хлеб и кувшин тяжёлого густого красного вина, которое делают только на Гозо. Вино было почти чёрным, вяжущим и пахло перезрелой вишней и сухой землёй.

Мы пили это вино из простых толстых стаканов. Оно сразу ударяло в голову и разливалось по телу глубоким, ленивым теплом.

— Хорошее вино, — сказал я. — В нём нет изысканности, но есть честность.

— Здесь всё честное, — Эмма отломил кусок хлеба. — Земля, море, эти люди. Они не пытаются казаться чем-то другим. Они просто живут на своём куске скалы и ждут, когда кончится зима.

Мы сидели в полутёмной таверне, слушая, как старики бросают на стол тяжёлые карты. Нам не нужно было говорить. Мы нашли свою точку покоя — временную, хрупкую, но абсолютно реальную. Короткое перемирие с миром.

Когда мы возвращались на паром, солнце садилось. Оно

уходило в море, огромное, багровое, окрашивая облака в тревожный медный цвет. Море затихло; его поверхность казалась отлитой из тёмной бронзы. Паром медленно отвалил от причала Мджарра, и огни Гозо начали таять в сгущающихся зимних сумерках, оставляя нас наедине с холодной ночной водой.

Новый год прошёл тихо. В полночь мы вышли на балкон. Где-то далеко, над Валлеттой, рассыпались салюты. Море внизу лежало огромным чёрным зеркалом, отражая редкие береговые огни.

— Что ты загадал? — спросила она, когда часы пробили двенадцать.

— Ничего, — ответил я честно. — Всё, что мне нужно, у меня уже есть. Прямо здесь.

— Хороший ответ, — улыбнулась она. — Самый правильный.

Седьмого января мы вылетели обратно в Англию.

Кембридж встретил нас привычным серым небом, мелкой изморосью и холодным туманом над Кемом. Но внутри меня что-то изменилось. Какая-то важная пружина, натянутая до предела все эти месяцы и грозившая вот-вот лопнуть, наконец ослабла.

Мир не рухнул, пока мы смотрели на море. Диссертация меня дождалась.

Папа говорил, что настоящая музыка рождается не из зву-

ков, а из пауз между ними. Если убрать паузы, останется только бесконечный, сводящий с ума шум. Я был благодарен, что у меня была эта зимняя пауза.

Я вернулся к работе на следующий день.

Я сел за стол, открыл тетрадь и начал писать. Теперь я работал спокойно, без прежней лихорадочной спешки. Ум был чист и точен.

График висел на стене. Моя жизнь была под контролем.

Эмма была рядом. Она хозяйничала на кухне, напевая простой мотив, который мы слышали в таверне в Марсашлокке.

Всё было пока еще на своих местах.

Глава шестая: Красивая модель

Февраль в Англии — тяжёлый месяц. Дождь шёл третьи сутки, мелкий, холодный, настойчивый, как дурные предчувствия. Он размывал силуэты кленов за окном, делая их похожими на водоросли на дне серого озера. Река Кем текла тяжело и беззвучно, окутанная промозглым туманом.

После Мальты мне казалось, что пружина во мне ослабла. Но спокойствие исчезло раньше, чем смылся загар. Третья глава моей диссертации застопорилась, и я снова сидел над тетрадью до глубокой ночи. График на стене не помогал. Графики никогда не помогают.

В октябре Марков получил позицию в Колумбийском университете. Я узнал об этом из сайта лаборатории. Сам он не написал. Молчание скапливалось в доме, как туман над Кемом.

Эмма возвращалась уставшей, но продолжала следить, чтобы я не превратился в призрак за своим столом. Она ничего не говорила. Она только смотрела на меня, как смотрят на барометр перед грозой.

Я хотел сделать для неё что-то хорошее. Что-то тёплое и надежное, как шерстяной плед или глоток виски после долгого бега под дождём.

Если бы я был музыкантом, я бы написал для неё простую чистую мелодию, которая оставалась бы в комнате после то-

го, как затихнет последний аккорд. Папа говорил, что музыка рождается не из звуков, а из пауз между ними. Но я был математиком. У меня были только цифры и формулы. И не было пауз.

Я подошёл к её столу. Там лежала стопка распечаток её экспериментов. Точки, кривые, статистические погрешности. Для неё это была живая ткань. Память, нейроны, синапсы, бьющиеся в предметных стёклах. Для меня это были узлы динамической системы.

Я открыл её ноутбук. Я не спрашивал разрешения. Просто в тот момент мне казалось, что между нами больше нет границ. Это была моя первая ошибка. Вторая пришла следом.

Я начал читать её данные. И из хаоса цифр стала проступать скрытая, чистая закономерность.

Я взял чистые листы и мягкий карандаш. Карандаш оставлял жирные чёрные следы. Я начал писать.

Формулы ложились на бумагу сами, словно они уже существовали где-то в холодном пространстве, а я лишь убирал лишнее, как скульптор убирает лишнюю глину. Нелинейное запаздывание, фазовый портрет. Всё сошлось. Мои теоремы вошли в её запутанную биологию, как хорошо смазанный поршень в цилиндр.

Модель получилась красивой. В ней была та убийственная строгая простота, которая отличает великие теории от ремесленных поделок. Она описывала динамику памяти так чисто, что все её эксперименты вдруг выстроились в одну

ровную, предсказуемую линию.

Я закончил поздно вечером. На столе лежали двенадцать страниц, исписанных плотным, аккуратным почерком. В голове было легко, пусто и горячо, как после большого бокала крепкого виски.

Я не подумал тогда, что делаю. Я думал только о том, какое совершенство я отдаю ей в дар.

Я дождался Эмму. Её пальто было мокрым, с капюшона на ламинат капала вода. Она выглядела бледной и замёрзшей.

— Привет, — тихо сказала она, снимая мокрые сапоги. — Сегодня был тяжёлый день. Две серии тестов пошли прахом.

— Привет, — сказал я, чувствуя себя победителем. — Иди сюда. У меня есть для тебя подарок.

Я протянул ей листы. Она удивлённо посмотрела на меня, взяла их влажными пальцами и начала читать, не снимая пальто.

Она читала медленно. Дождь шуршал по стеклу, клёны качались в темноте, а в комнате стояла густая, тяжёлая тишина. Было только слышно, как шуршит бумага под её пальцами. И как капает на кухне кран. Я неосознанно считал капли.

Я улыбался. Я ждал, когда она меня обнимет.

Она дочитала до последнего листа и аккуратно сложила стопку. Сложила так осторожно, будто это были не мои страницы, а что-то опасное, что нельзя растревожить. Потом медленно сняла пальто, повесила его на крючок и села на

край стула. Её плечи были опущены. Она смотрела на формулы, но глаза были пустыми и мёртвыми.

— Это твои данные, Эмма, — сказал я, начиная чувствовать лёгкое беспокойство. — Извини, что взял их без спроса. Но посмотри, как всё сошлось. Модель закрывает все вопросы. Твои эксперименты полностью подтверждают теорию. Это прорыв.

— Да, — тихо сказала она. Голос был едва слышен сквозь шум дождя. — Это действительно прорыв.

— Тебе не нравится?

Она подняла на меня глаза. В них не было злости. В них была та тихая бездонная тоска, которую я видел у людей, потерявших всё в один день.

— Это очень красивая модель, Костя, — сказала она. — Безупречная. Но она убила всю мою работу.

В комнате стало очень холодно. Обогреватель в углу гудел, но его тепло больше не грело.

— Что ты имеешь в виду? — спросил я. Голос прозвучал сухо.

— Моя диссертация, — медленно произнесла она. — Два года. Два года я сидела в лаборатории. Я резала лягушек, считала синапсы, возилась со статистикой. Я думала, что строю здание. А твои двенадцать страниц показывают, что всё моё здание — груда кирпичей, которую ты аккуратно сложил в красивую формулу. Моя работа больше не имеет самостоятельной ценности. Она превратилась в приложение

к твоей математике. Я просто лаборант, который собрал для тебя данные.

Я стоял перед ней и молчал. Холодная правда этих слов медленно проникала под кожу.

Я вспомнил Сент-Луис. Вспомнил ту душную конференцию, запах дешёвого кофе в фойе и Женьку, стоявшего у доски. Его простой гениальный метод за пять минут превратил мою годовую работу в частный, никому не нужный случай. Я помнил ту убийственную пустоту внутри. Тот парализующий стыд и беспомощность.

Я сделал с ней то же самое. Своими руками. С улыбкой на лице и с лучшими намерениями.

— Эмма, — тихо сказал я. — Прости меня. Я не думал об этом. Я просто хотел помочь.

— Я знаю, Костя, — она покачала головой. — Я знаю, что ты хотел как лучше. В этом-то и весь ужас. Твой разум устроен так, что он не может не упрощать и не побеждать. Ты хищник, Костя. Математический хищник. Ты видишь структуру и забираешь её себе.

— Я могу уничтожить эти листы, — сказал я, делая шаг к столу. — Мы забудем о них. Я никогда никому не покажу модель.

— Нет, — она остановила меня рукой. — Нельзя. Это было бы преступлением против истины. Модель правильная. Она слишком хороша, чтобы её выбрасывать. Если ты её

уничтожишь, я буду чувствовать себя ещё хуже. Истина не должна страдать из-за нашей слабости.

Мы не спали всю ночь. Мы лежали в темноте, слушая, как дождь бьёт по подоконнику, а клёны глухо стонут под ветром. Наша кровать казалась маленьким плотом посреди холодного, равнодушного океана.

Утром Эмма вышла на кухню бледная, с тёмными тенями под глазами. Мы молча выпили горький чёрный кофе. Мы пили и не смотрели друг на друга. Это было новое умение, и мы уже начали его осваивать.

— Я думала всю ночь, — сказала она. — Вариантов немного.

Я слушал, глядя, как капли дождя стекают по стеклу кухонного окна.

— Первый: ты публикуешь модель один. Моя диссертация слабеет, я защищаюсь, но блекло. Второй: ты откладываешь публикацию на полтора года, пока я не защищусь. Ты теряешь время, и кто-то другой может тебя опередить.

— Я выбираю второй, — сразу сказал я. — Без вариантов.

— Это нерационально, Костя. В науке так не поступают.

— Лёва написал бы, что любовь вообще нерациональна. И был бы прав. Это единственный способ сохранить человека рядом, не превратив его в сухую формулу.

Эмма посмотрела на меня, и в её глазах блеснули слёзы. Она заплакала — тихо, без всхлипов, просто закрыв лицо руками. Я подошёл и обнял её. Её плечи дрожали под фла-

нелевой рубашкой.

— Есть третий вариант, — прошептала она сквозь слёзы. — Мы публикуем это вместе. В соавторстве. Моя биология и твоя математика. Это спасёт диссертацию, хотя моя работа потеряет часть первоначальной чистоты.

— Мы спросим Уилсона, — сказал я. — И твоего руководителя. Как они скажут, так и будет.

— Хорошо, — она вытерла щеки ладонью и слабо, виновато улыбнулась. — Пусть решают они.

Она ушла в лабораторию. Мы не пошли бегать в то утро. Я остался один в пустой квартире. Дождь прекратился, но небо оставалось ровного свинцового цвета. Клёны во дворе стояли мокрые и тихие.

Я снял с подоконника серый кремнистый камень, который мы привезли из Котсуолдса, открыл самый дальний ящик стола, положил туда листы с моделью, а сверху придавил их камнем. Он лёг как пресс-папье. Как надгробие. Холодный и гладкий. Мы обещали вернуться к тем холмам, когда станет совсем тяжело. Теперь камень лежал над моделью, и я не хотел думать, что это значит.

На кухне капал кран. Я больше не считал капли.

Я сел за свою диссертацию. Работа продолжалась. Но между мной и Эммой появилось что-то новое. Это была тонкая, почти незаметная трещина, похожая на волосяной шов на тонком фарфоре. Её нельзя было увидеть издалека. Но мы

оба знали, что она там есть. И теперь нам приходилось наливать чай осторожнее, чтобы чашка не раскололась у нас в руках.

Всё было на своих местах. Но мирное время кончилось.

За окном снова начинался дождь. Я продолжал работать.

Глава седьмая: Смена знака

Три дня мы жили как на минном поле. Это была та вязкая, душная тишина, какая повисает в окопах перед артобстрелом, когда птицы уже замолкли, а первый снаряд еще не разорвал воздух. Мы старались не встречаться взглядами. Говорили только о самом необходимом, о вещах простых и бесспорных: о чае, о погоде, о том, что нужно купить хлеб. Мы будто боялись, что любое лишнее слово взорвет наш хрупкий мир.

В четверг Эмма должна была идти к своему научному руководителю, профессору Маргарет Холлис. Холлис возглавляла кафедру нейробиологии. Ей было под шестьдесят, она носила строгие английские костюмы, курила тонкие сигареты с ментолом и имела репутацию человека, способного одним вопросом уничтожить полугодовую работу аспиранта. У неё были умные, холодные глаза старого хирурга.

Эмма сложила мои двенадцать страниц в плотную кожаную папку.

— Хочешь, я пойду с тобой? — спросил я, стоя у двери и держа руки в карманах брюк. Мои пальцы были холодными.

— Нет, — сказала она и затянула молнию куртки до самого подбородка. — Это моя диссертация. Мой бой. Я должна принять его сама.

Она ушла в одиннадцать. За ней захлопнулась дверь, и

квартира опустела.

Мартовский день выдался серым и бесприютным. Сквозь полупрозрачную дымку тумана проступало блёклое небо. От земли поднимался сырой, сладковатый пар, и где-то далеко, в глубине университетского сада, робко и чисто пела зарянка — единственное живое существо, осмелившееся подать голос.

Но тепла не было. Был только холодный ветер с реки Кем. Он дул порывами, раскачивая голые ветви клёнов, и приносил мелкий, колючий дождь.

Когда ждёшь, нужно что-то делать руками. Иначе можно сойти с ума. Я достал щётку и принялся чистить свои кожаные ботинки. Я тер их долго, методично, пока кожа не заблестела, как антрацит. Потом я вымыл всю посуду на кухне. Кран по-прежнему капал — ровно, размеренно, словно отсчитывал секунды до приговора.

Время тянулось медленно, как холодный сироп.

Прошло два часа. Потом три. Три с половиной.

Я сидел у окна и смотрел, как капли дождя оставляют длинные, неровные следы на стекле. В голове крутились плохие варианты. Если Холлис скажет, что модель обесценивает экспериментальную часть, нам придётся всё переделывать. Или выбросить модель. Или Эмме придётся защищаться на год позже.

Дверь открылась в половине пятого.

Эмма вошла тихо. Она сняла мокрую куртку и повесила её на крючок. Её лицо было спокойным, почти бледным, но в глазах больше не было той мёртвой, парализующей тоски, которая пугала меня эти три дня.

— Ну как? — спросил я, не двигаясь с места.

Она прошла в комнату, села на диван и вытянула ноги.

— Холлис молчала сорок минут, — сказала она. — Она курила одну сигарету за другой и просто переворачивала листы. Делала пометки своим красным карандашом. Я сидела напротив и слышала, как бьётся моё сердце. Потом она подняла на меня глаза и спросила: «Это ты сделала, девочка?»

— И ты сказала правду?

— Да. Я сказала, что это написал ты. Что ты математик и что ты использовал мои данные, чтобы сделать мне подарок.

Эмма замолчала. Она посмотрела на свои руки, потом подняла взгляд на меня и слабо улыбнулась.

— И что она сказала?

— Она сказала: «Хорошо, когда у тебя умный мужчина, Эмма. Но ещё лучше, когда он умеет считать». А потом она рассмеялась.

Я сел рядом с ней на диван и взял её за руку. Её пальцы наконец-то были тёплыми.

— Расскажи мне всё, — попросил я.

— Она объяснила мне то, чего мы сами не поняли в своей панике, — медленно произнесла Эмма, глядя на наши соединённые руки. — Моя диссертация — экспериментальная.

Это фундамент. Это земля. Без моей лаборатории, без моих лягушек и моих срезов мозга твоя красивая модель — это просто абстрактная игра ума. Дым над водой. Но с этой моделью моя земля стоит вдвое дороже.

Она повернулась ко мне всем телом.

— Холлис сказала, что биологи панически боятся математики. Они не понимают её. Если мы опубликуем это вместе, я буду первым исследователем, который соединил экспериментальную нейробиологию и строгую теорию управления. Это не ослабляет мою работу. Это делает меня редким, штучным специалистом. После защиты я смогу подавать на гранты под своё собственное направление. У меня будет приоритет.

Я слушал её, и внутри меня медленно поворачивался тяжёлый рычаг. Знак менялся. То, что я построил из лучших побуждений, а потом принял за катастрофу, на проверку оказывалось победой. Я не сказал ничего. Я только крепче сжал её руку.

Я вспомнил последнее письмо Лёвы. «Мы всегда стремимся к безупречности, но безупречность — это просто красивое слово для одиночества. Чистая математика мертва, чистая биология слепа. Когда они соединяются, они перестают быть безупречными, но они начинают жить».

— Значит, мы работаем вместе? — спросил я.

— Да, — сказала она. — Холлис настаивает на совмест-

ной публикации. Ты — первый автор, потому что математика твоя. Я — второй, потому что без моих данных ничего бы не было. Холлис и Уилсон пойдут соавторами-руководителями. Это нормальная практика для междисциплинарных работ. Холлис уже написала Уилсону.

Я откинулся назад и рассмеялся — впервые за эти три дня. Легким, хриплым смехом человека, мимо которого только что просвистел осколок.

— Профессора чертовски быстры, когда пахнет хорошей статьёй, — сказал я.

— Они не хотят упускать приоритет, — улыбнулась Эмма. — Холлис уже говорит о гранте от Wellcome Trust на пять лет. Пять лет чистой, спокойной работы, Костя. Для нас обоих.

Я обнял её. Мы сидели в полумраке гостиной, слушая, как дождь утихает за окном.

Трещина, которая грозила расколоть наш маленький мир, не исчезла, но перестала расти. И этого оказалось достаточно, чтобы продолжать жить.

В пятницу пришёл Уилсон. Это была внеплановая встреча. Он принёс с собой запах хорошего табака, мокрого сукна и весенней прохлады. Мы пили крепкий чай из простых кружек.

Уилсон положил на стол копию моей модели.

— Элегантная работа, — сказал он, аккуратно расправляя

листы ладонью. — Очень чистая математика. Я всегда говорил вам, что по-настоящему верное решение всегда красиво. Это хорошая междисциплинарная связка. Мы с профессором Холлис решили, что работу нужно отправить в PLOS Computational Biology. Это хороший, авторитетный журнал.

— Мы не выйдемся из графика? — спросил я.

— Нет, — Уилсон отхлебнул чай. — Статья почти готова. Вам нужно написать строгое математическое обоснование, Эмме — биологическую часть и обсуждение результатов. К первому мая мы должны отправить рукопись. У вас есть шесть недель. Это управляемый срок.

Он посмотрел на нас своими умными, прищуренными глазами.

— Профессор Холлис очень довольна вашей девушкой, Константин. Она видит в ней перспективу. Не мешайте ей своим прямолинейным упрямством. Наука — это не только уравнения. Это ещё и умение находить союзников.

— Я понял, — сказал я.

Мы начали работать в тот же вечер.

Мы сидели за нашим широким столом из светлого дерева. Эмма устроилась слева, окружённая распечатками своих графиков, я — справа, со своими тетрадями и черновиками. Лампа под жёлтым абажуром светила тепло и мягко, оставляя углы комнаты в глубокой, уютной тени.

Это была хорошая, честная работа. Мы двигались вперёд

шаг за шагом, как пара хороших лошадей в одной упряжке. Когда у меня возникали сомнения в биологических ограничениях модели, я спрашивал её, и она объясняла мне динамику живой клетки простыми, осязаемыми словами. Когда ей нужна была помощь с интерпретацией формул, я переводил абстрактные топологические понятия на язык физических процессов.

Мы понимали друг друга с полуслова. В этой совместной работе не было места тщеславию. Была только задача, которую нужно было решить хорошо.

К концу апреля статья была готова. Двадцать страниц плотного, безупречного текста. Математика держала биологию, как прочный стальной каркас держит живое дерево.

Первого мая я нажал кнопку отправки на сайте журнала. На экране появилось системное сообщение: «Ваша рукопись принята к рассмотрению».

— Теперь ждём, — сказал я, закрывая ноутбук.

— Да, — сказала Эмма. Она подошла сзади и положила руки мне на плечи. — Теперь мы можем просто ждать.

Август уходил тихо, будто на цыпочках. Вечера сделались прохладными и росистыми; по утрам на широких листьях клёнов во дворе лежали крупные, чистые капли влаги, похожие на шарики ртути. В воздухе стоял горьковатый осенний дух: пахло палой листвой, сырой землей и перезрелыми, осыпавшимися в садах яблоками.

Рецензии пришли в конце августа. Они были положительными. Два анонимных рецензента просили сделать лишь несколько мелких текстовых правок. Мы внесли их за пару дней.

В начале сентября статью официально приняли к публикации.

Уилсон прислал короткое письмо: «Поздравляю. Это сильный ход».

Холлис прислала длинное поздравление, в котором уже расписывала пункты нашей будущей заявки на грант Wellcome Trust. Она предлагала Эмме позицию постдока на своей кафедре сразу после защиты.

Мы сидели на подоконнике в спальне и пили вино. Из окна тянуло ночной прохладой и запахом мокрой травы.

— Ты останешься здесь? — спросил я Эмму.

— Да, — сказала она. Она прижалась своим тёплым плечом к моему боку. — Здесь хорошая лаборатория. И здесь есть ты. Мне больше ничего не нужно искать. А ты?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.